13 Там же, с. 166.
14 Там же, с. 237.
15 Аннинский Л. «Как закалялась сталь» Николая Островского. М., 1988. С. 100.
16 Там же, с. 97.

© Подчиненов А. В., Снигирева Т. А.
г. Екатеринбург

ПОЭЗИЯ И ЭНТУЗИАЗМ ТРУДА (К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ «РУССКОЙ ИДЕИ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Исследование духовной культуры современного общества немыслимо без обращения к ее истокам, без воссоздания единой картины прошлого, настоящего и будущего России. В этом усматривается одна из причин активного интереса гуманитарной мысли конца XX столетия к русской идее, ибо «судьба «русской идеи» — это судьба пророчества о России» [5].

Симптоматично, что и признанные авторитеты русской философии, и современные исследователи зачастую рассматривают русскую идею, зарождение, развитие, модификации ее на материале анализа этико-эстетических взглядов русских писателей и критиков XIX века. При философской или исторической интерпретации русской идеи отечественная литература, и это объяснимо, играет как бы подсобную, иллюстративную роль. Отсюда и выбор материала: дневники, письма, публицистика и много реже — их собственно художественные творения.

Однако существует еще один важный аспект бытия русской идеи в духовной культуре общества. Он связан с собственно литературно-художественным воплощением русской идеи, с осмыслением *русской идеи как художественного феномена*.

Задача именно литературоведческого прочтения одного из важнейших компонентов общественного сознания в России требует выработки особого подхода к ее решению, который нельзя ограничить только религиозно-конфессиональным. Невозможно рассматривать литературу с позиции сакрального текста, а писателя с позиции духовного учителя, что искажает наше представление и о русской идее, и о русской литературе.

Думается, исследование русской идеи как художественного феномена требует учета, по крайней мере, двух концептуально важных позиций:

— создание некоего литературно-художественного аналога философско-исторического понятия «русская идея», моделирование ее *художественной структуры,*

— восприятие истории русской литературы как непрерывного целостного процесса, не лишенного, безусловно, внутренних противоречий, которые влекут за собой необходимость анализа того *стабильного/изменчивого*, что составляет суть движения отечественной литературы двух столетий, чему и посвящены наши сегодняшние размышления.

Филологическая мысль, как отечественная, так и зарубежная, по разным, в том числе и внелитературным причинам долгое время была обращена главным образом к констатации дискретности, точнее, разрыва в развитии культуры XIX-XX веков. Например, Г. Струве, осмысляя судьбу русской культуры в XX веке, настаивал на существовании двух суверенных потоков в ней, причем, по его мнению, лишь в эмиграции литература наследовала и реально сохранила гуманистические традиции русской классики, которые под давлением политических доктрин были односторонне истолкованы и, в конечном счете, извращены в литературе со-

ветской, именно поэтому «воды этого, отдельно текущего за пределами России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутрироссийские» [6].

Чисто внешне, декларативно советское литературоведение провозглашало связь литературы советской эпохи с традициями русской классики, но само понимание традиций корректировалось ленинским учением о «существовании двух культур в рамках одной национальной культуры», и в разнообразном художественном наследии XIX века главным образом выделялась так называемая революционно-демократическая линия.

Современное отечественное литературоведение настаивает на полном разрыве в послереволюционную эпоху с национальным наследием, связывая это с глобальным процессом подмены русской ментальности советской.

На наш взгляд, тезис о полном разрыве двадцатого века с культурными ориентирами многовековой истории России, нашедший свое распространение и в массовом сознании, требует серьезной корректировки. Во-первых, «органического единства» русской истории, а, следовательно, и русской культуры, по точному замечанию Н. Бердяева, не было никогда. Во-вторых, при всей прерывистости, катастрофичности русской истории «Россия — страна старой культуры» [2], и духовное единство русского литературного движения, безусловно, не однолинейное, сложное, противоречивое, все же несомненно.

Именно литература XIX века совпала с эпохой формирования и становления «русскости» как особого явления психолого-исторического характера. Соприкасаясь с историческим движением России (декабризм, нигилизм, народовольчество, первые революционеры марксистского толка), отражая политические борения общества (например, спор западников и славянофилов), во многом опережая русскую философскую мысль этого периода (идея особой предопределенности русской судьбы, мессианства, эсхатологическая идея), русские писатели создали свой образ России и русского человека. Эволюция русского сознания в этот период связана с осмыслением христианства в его православном варианте.

Процессы, происходящие в сознании русского народа, остаются важнейшими и для художественных исканий XX века. Но концепция русской исторической судьбы и, как следствие, русского национального характера приобретает иное наполнение, что связано с очередным резким и существенным изменением коренных принципов жизнеустройства русского общества.

Реальное содержание историко-литературного процесса XX века, осмысленное непредвзято и в основных, сущностных его проявлениях и закономерностях, свидетельствует о том, что единый поток художественной мысли не был окончательно прерван революцией, но продолжался в литературе эмиграции, в литературе духовного сопротивления и в литературе официальной.

Диалектика единства и разрыва художественной преемственности в аспекте русской идеи отчетливо проявляет себя в устойчивой для отечественной литературы теме, теме труда. Отчетливо сознавая некую традиционность, если не ортодоксальность заявленного аспекта анализа: труд, изображение человека труда, энтузиазм труда, трудовой героизм и другие понятия этого ряда ныне серьезно дискредитированы, — считаем все же необходимым очертить общее движение художественной мысли, обращенной к пониманию роли труда в жизни русского человека. Безусловно, предлагаемые размышления могут быть восприняты как излишне жесткая схема, но нам было важно взглянуть на архитрадиционную тему с новых

позиций в условиях складывающейся современной этико-эстетической системы ценностей, что позволяет, во-первых, выявить причины устойчивого негатива, сопровождающего эту некогда весьма престижную тему в литературе последних десятилетий, во-вторых, и это главное, «нация и труд» — срез, затрагивающий стабильное состояние общества, его, так сказать, «повседневье», художественное воплощение которого особо отчетливо представляет исторические нити, существующие, а порой рвущиеся между веком XIX и веком XX.

Концепция труда в русской литературе XIX века складывалась под воздействием двух основных факторов: нравственного сознания русского народа, единодушного с православной религией, и материалистическими установками разночинно-демократической идеологии.

В демократической литературе (Ф. Решетников, Н. Помяловский, Н. Успенский) труд истинный, к которому предназначен человек и в котором он может реализовать себя как личность, — сфера земного материального благополучия. Важнейшей философской и художественной категорией этой концепции становится понятие свободного труда, в условиях которого крестьянин — хозяин своей земли, в условиях которого нет отчуждения от результатов своего труда. В связи с этим есть смысл вспомнить и столь активно разрабатываемую со средины до конца XIX века идею крестьянской общины, мечту о коллективном труде. Свободный совместный труд, могущий дать сытость, материальный достаток, «богачество», впрямую соотносится с мечтой о крестьянском счастье. Когда человек сыт — он свободен и счастлив. Отсюда и хорошо известный конфликт социального характера, присущий целому ряду произведений русской литературы от «Кому на Руси жить хорошо?» до «Подлиповцев». Нищета, бедность — следствия подневольного, рабского труда. Когда русский крестьянин был освобожден, но освобожден без земли, отчуждение и внутренняя несвобода остались. Земля-кормилица становится землей-убийцей, власть земли — властью тьмы, уродуя не только материальную жизнь крестьянина, его быт, но и его душу, психологический облик. Этой метаморфозой, в частности, объясняется социальный трагизм многих произведений классики XIX века, посвященных русской деревне.

В духовно-нравственной практике другой линии русской литературы (Достоевский, Толстой, Лесков) материальный труд не является главным смыслом человеческой жизни. Читаем у святых отцов: «Брат спросил Авву Агафона: скажи мне, Авва, что больше: телесный труд или хранение сердца? Авва ответил ему: человек подобен дереву: телесный труд — листья, а хранение сердца — плод. Поелику же, по писанию, «всяко древо, еже не творит добра, посылаемо бывает и в огнь вметаемо»» (Мф. 3, 10).

Материальному труду, в отличие от труда души, терпению, страданию в системе духовных ценностей названных писателей отводится явно подчиненное место. Важнейшими в данном случае становятся такие категории, как труд души и духа, архетип нации, а также соотносимые с ними понятия соборности, мессианства и богоизбранничества русского народа.

Идея труда души, постоянного духовного напряжения в художественных системах этого ряда художников является важнейшей частью индивидуально-творческой концепции человека и народа. У Достоевского это «почвенный герой» («Мужик Марей»); это «праведники» Лескова; это, с одной стороны, мужики, с другой — кающийся дворянин Толстого, который стремится к опрощению и правде. У классиков русской литературы XIX века тема труда всегда связана как с темой

судьбы России, так и с проблемой нравственно-индивидуального прозрения героя.

Итак, по сути, мы имеем дело с различными представлениями о характере национальной ментальности: религиозно-нравственным (почвенным, имеющим корни в доисторическом сознании русского народа), ориентированным на вечные, абсолютные истины, и материально-практическим, историческим, признающим ценности относительные.

Русской литературе XX века была навязана иная шкала ценностей: на первый план, по известным причинам идеологического характера, выдвигаются исторические, относительные, материальные приоритеты, принимающие в новом обществе нередко значение абсолюта.

В русской литературе советской эпохи долгое время культивировалась идея так называемого «освобожденного труда», идея, бесспорно, берущая свое начало в демократическом направлении литературы второй половины XIX века. Но если в прошлом столетии это была мечта о свободном труде, то в нынешнем эту мечту предлагалось рассматривать как уже осуществленную. Понятие нового, освобожденного труда было сопряжено с важными для времени категориями политического, идеологического и даже экономического характера. Во-первых, это был коллективный труд, во-вторых, труд по преимуществу промышленный, но не крестьянский, в-третьих, его жертвенность и напряженность оправдывалась идеей построения нового общества, в-четвертых, «рабочий героизм» связывался с рождением в «республике труда» нового человека, производственный процесс впрямую соотносился с процессом воспитания и изменения человеческой природы, отразившимся, например, в знаменитом финале «Соти» Л. Леонова: «Отсюда всего заметней было, что изменился лик Соти и люди изменились в ней» [4].

Государственные установки, идущие в 1930-х годах от концепции индустриализации страны, в 1940—50-х — от необходимости «реконструкции народного хозяйства», в 1960—70-х — от знаменитого лозунга догнать и перегнать Америку», породили уникальные художественные формы, в том числе жанр романа о социалистическом строительстве (другие обозначения: роман о труде, роман о рабочем классе, производственный роман, индустриальный роман и т. д.).

Тема труда долгое время была престижной, поощряемой и легко «проходимой» в литературе советской эпохи. Но одновременно с официальной всегда существовала и иная — альтернативная точка зрения, весьма своеобразно продолжающая духовно-нравственную концепцию XIX века.

Альтернативная, потаенная литература остро реагировала как на призыв новой государственности полностью подчинить личность ее государственным нуждам, так и на готовность новой литературы воспеть «героизм труда». Характерен в этом смысле принципиальный отказ от любой формы труда, кроме индивидуально-творческой. Особо показательны здесь «Мои службы» М. Цветаевой с их гневным пафосом: «Нигде, никогда служить не буду!» Труд в оппозиционной литературе воспринимался не только как каторжный, нетворческий, иссушающий личность, но и как форма приспособления к существующему миру, смириться с которой не может позволить человек, стремящийся сохранить свое достоинство и суверенность. Одним из действенных способов протеста против подавления социума обществом стала «поэзия пьянства» шестидесятников. Достаточно вспомнить «Зону» и «Компромисс» С. Довлатова или «рабочий график» в поэме «Москва-Петушки».

Русская литература не ограничивалась негативной реакцией на концепцию

«трудового энтузиазма», пародируя ее, вскрывая ее абсурдный смысл. В шестидесятые годы писателями-«деревенщиками» была предпринята попытка восстановления распавшейся «связи времен», попытка возвращения к духовному смыслу трудовой деятельности в жизни нации, и вполне закономерно, что решались эти задачи путем обращения к жизни деревни и русского крестьянина в XX веке.

Прежде всего, С. Залыгину, В. Белову, В. Астафьеву, В. Шукшину, В. Распутину необходимо было показать особость крестьянского труда, его принципиальную непохожесть на труд производственного характера. В повести С. Залыгина «На Иртыше» (1964), во многом определившей социальную направленность деревенской прозы, «ворох мужиковских дум» связан с тем, что «ломку» в революции крестьянину делают куда больше, чем «сознательному пролетарию», поскольку «рабочий при царе по гудку на завод ходил и по сю пору ходит. Ему тот же гудок жизнь определяет: отгудел смену, он картуз на лоб — и пошел в казенную квартеру...» [3].

Никакого «энтузиазма» в крестьянском труде не может и не должно быть. Опираясь на опыт народной этики и эстетики, соотнося труд и отдых крестьянина с кругооборотом природной жизни, В. Белов специально оговаривается: «В народе всегда с усмешкой, а иногда с сочувствием, переходящим в жалость, относились к лентяям. Но тех, кто не жалел в труде себя и своих близких, тоже высмеивали, считая их несчастными. Не дай бог надорваться в лесу или на пашне! Сам будешь маяться и семью пустишь по миру. (Интересно, что надорванный человек всю жизнь потом маялся еще и совестью, дескать, недоглядел, оплошал). Если ребенок надорвется, он плохо будет расти. Женщина надорвется — не будет рожать. Поэтому надсады боялись, словно пожара. Особенно оберегали детей, старики же сами были опытны» [1].

Поэзия, красота крестьянского труда — особая тема писателей-деревенщиков. Достаточно вспомнить «Последний поклон», «Царь-рыбу», «Оду русскому огороду» В. Астафьева. Но, и это принципиально важно, картины одухотворенной работы человека на земле связаны чаще всего с воспоминаниями детства, личной памятью писателя, которая бережно хранит то, что уже ушло безвозвратно. Русская литература советской эпохи не дала и не могла дать ничего похожего на знаменитую толстовскую картину косьбы, поскольку единение человека с землей, миром и міром было насильственно прервано в XX веке. Писателям, генетически связанным с русской деревней, было важно сказать о прощании с некогда устойчивым, казалось, незыблемым ладом жизни.

Примечания:

1. Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике. Л., 1984. С. 10.
2. Бердяев Н. А Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7.
3. Залыгин С. На Иртыше // Новый мир. 1964. № 12. С. 14.
4. Леонов Л. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1961. С. 322.
5. Коротаев В. И. Судьба «русской идеи» в советском менталитете (20-30-е годы). Архангельск, 1993. С. 8.
6. Струве Г. Русская литература в изгнании // Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, 1984. С. 7.

© Пономарев Е. Р.
г. Санкт-Петербург

ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ